

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР

Потерянные следы



Магистраль. Сиеста

Алехо Карпентьер
Потерянные следы

«ФТМ»

«ЭКСМО»

1953

УДК 821.134.2-31(729.1)

ББК 84(7Куб)-44

Карпентьер А.

Потерянные следы / А. Карпентьер — «ФТМ», «Эксмо»,
1953 — (Магистраль. Сиеста)

ISBN 978-5-04-199004-6

Алехо Карпентьер великий кубинский писатель, ставший писателем с мировым именем. Родился в Гаване в 1904 году. Отец его, француз по происхождению был архитектором, а мать писателя, русская, приходилась родственницей поэту Константину Бальмонту. Учился в Гаванском Университете на факультете архитектуры, но специальностью избрал теорию и историю музыки. Поэтому так много музыки в его произведениях... «Потерянные следы» — роман-путешествие. Путь в сельву для главного героя становится поиском самого себя, возвращением к своим корням, к давно забытому родному испанскому языку. В нем история отношений с тремя женщинами, острые переживания и переоценка ценностей. В итоге «Потерянные следы» — это очистительная драма. Приведет ли она героя к полному освобождению от всего, что обременяло и искажало его жизнь? Обретет ли он духовную свободу, которой так жаждет? Надо смотреть не только в прошлое, но и в сегодняшний день, а еще и в будущее. К этой мысли подводит роман «Потерянные следы».

УДК 821.134.2-31(729.1)

ББК 84(7Куб)-44

ISBN 978-5-04-199004-6

© Карпентьер А., 1953

© ФТМ, 1953

© Эксмо, 1953

Содержание

Часть первая	7
I	7
II	14
III	20
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Алехо Карпентьер

Потерянные следы

Alejo Carpentier
Los pasos perdidos

© Alejo Carpentier, 1953 and Fundacion Alejo Carpentier

© Синянская Л. П., наследники, перевод на русский язык, 2024

© Издание на русском языке. Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

* * *

Часть первая

*И небеса твои, которые над головою твоею, сделаются медью,
и земля под тобою – железом. Поразит тебя Господь сумасшествием,
слепотою и оцепенением сердца!*

«Второзаконие», 28–23–23

I

Четыре с половиной года не видал я этого дома с белыми колоннами и фронтоном, украшенным строгой лепкой, которые придавали ему суровый облик дворца правосудия. И вот теперь, возвратившись сюда, я вновь увидел этот дом, знакомую мебель и все вещи на прежних местах, и у меня появилось почти тягостное ощущение, что время повернуло вспять. Тот же занавес густого винного цвета, тот же фонарь и пустая клетка возле вьющегося розового куста. Чуть поодаль – вязы, те самые вязы, которые появились здесь с моей помощью давным-давно, в незапамятные времена, когда мы, еще охваченные энтузиазмом, трудились все вместе. Каменная скамья возле корявого ствола, та скамья, по которой я как-то раз ударил каблуком, и она издала глухой деревянный звук. А дальше – тропинка к реке, окаймленная карликовыми магнолиями, и еще дальше – причудливая решетчатая калитка в новоорлеанском стиле. Как и в тот первый вечер, я прошел сквозь колоннаду, вслушиваясь в гулкое эхо собственных шагов, пересек кулису, торопясь туда, где толклись, разбившись на группки, клейменные железом рабы, амазонки с перекинутыми через руку шлейфами и раненые солдаты, оборванные и кое-как перевязанные; каждый ожидал своего выхода в сумерках, пропахших прелым войлоком и старыми пропотевшими мундирами. Я вовремя вышел из полосы света, потому что как раз в этот момент прозвучал выстрел, и сверху, с колосников, на сцену упала птица. Послышалось шуршание кринолина – я стоял, загораживая узкий проход, по которому моя жена торопливо выходила на сцену. Чтобы не мешать, я прошел в ее уборную, и только тогда все снова стало на свое место и время потекло своим чередом, потому что здесь все говорило о том, что за четыре с половиной года многое разбилось, потускнело или увяло. Кружева, которые она надевала для финальной сцены, словно покрылись серым налетом, а черный атлас для сцены бала утратил ту упругость, благодаря которой при каждом реверансе он шуршал, точно ворох сухих листьев. Даже стены поблекли там, где их чаще касались, и на них появились следы, оставленные гримом, увядшими цветами и постоянными переодеваниями. Сидя на диване, превратившемся за это время из голубовато-зеленого в зеленый цвета плесени, я думал о том, каким тягостным стало для Рут ее заточение на подмостках, со всеми этими подвесными задниками, паутиной веревок и фанерными деревьями. В дни премьеры этой трагедии, повествующей о войне между Севером и Югом, помогая юному автору, мы считали, что эта авантюра – в спектакле были заняты актеры, только что вышедшие из экспериментального театра, – продлится самое большее двадцать вечеров. Но теперь позади было почти полторы тысячи представлений, контракты продлевались от раза к разу, и актеры оказались накрепко связанными, а импресарио, взяв дело целиком в свои руки, использовал щедрый юношеский пыл, чтобы выколотить побольше денег.

Итак, для Рут театр стал не широкими дверьми в драматическое искусство, куда она хотела бежать от жизни, а Чертовым островом¹.

¹ Чертовым островом – подразумевается один из трех островов Спасения, названных из-за миссионеров, спасавшихся там от чумы. Однако Чертов остров вошел в историю благодаря скандальному «Делу Дрейфуса». Именно на этот остров отправили

Те редкие бенефисы, в которых ей позволялось участвовать в парике Порции или в одеждах какой-нибудь Ифигении, были для Рут слабым утешением, ибо публика под любым костюмом искала привычный кринолин, а в словах, по замыслу принадлежавших Антигоне², ей слышались интонации Арабеллы, той самой, которая как раз в этот момент на сцене, в ситуации, признанной критиками в высшей степени умной, училась у Бута³ правильно произносить по-латыни фразу: *Sic semper tyrannis*. Надо было обладать огромным талантом трагической актрисы, чтобы суметь избавиться от паразита, пившего ее кровь, приставшего к ней, словно неизлечимая болезнь. Не раз Рут хотела нарушить контракт, но в ответ на эти попытки ее лишали ролей. И случилось так, что Рут, начавшая учить эту роль, когда ей было тридцать, в тридцать пять повторяла все те же жесты и произносила одни и те же слова в каждый из семи вечеров недели, не считая субботы, воскресенья, праздничных дней и летних гастролей, когда приходилось играть еще и днем. Успех пьесы постепенно разлагал ее исполнителей, которые старились на глазах у публики, ни разу не сменив своих костюмов. И однажды один из актеров сразу после вечернего спектакля – едва опустился занавес – умер от инфаркта; трупна, собравшаяся на следующее утро на кладбище, явила миру выставку траурных нарядов и чем-то напоминала дагерротип. С каждым днем испытывая все большую горечь и все меньше веря в возможность чего-нибудь добиться в искусстве, которое она, несмотря ни на что, глубоко и искренне любила, жена моя поддалась, и автоматизм будней засосал ее точно так же, как и меня. Прежде Рут, по крайней мере, старалась сохранить актерский темперамент, не уставая повторять те великие роли, которые она все-таки надеялась когда-нибудь сыграть. Она тешила себя надеждой, что упражняется в искусстве перевоплощения, и бралась то за роль Норы, то за роль Юдифи, Медеи или Тесс⁴. Однако надежда эта в конце концов разбивалась о печаль монологов, которые она вела один на один с зеркалом.

Актриса и служащий живут по разному времени, и как ни пытались мы наладить совместную жизнь, в конце концов стали спать отдельно. По воскресеньям раз в неделю я приходил в постель к Рут и выполнял то, что принято считать супружеским долгом, хотя и не был при этом совершенно уверен, что это отвечало истинным желаниям Рут. Вполне вероятно, что и она, в свою очередь, считала себя обязанной поддерживать это еженедельное физическое общение, поскольку собственноручно поставила свою подпись под нашим брачным контрактом. Я же поступал так потому, что не считал себя вправе отказаться и не удовлетворять те потребности, которые мне положено удовлетворять, а кроме того, это на неделю успокаивало мою совесть. Как ни пресны были эти объятия, они все же скрепляли наши узы, ослабевавшие оттого, что каждый жил своей жизнью. Тепло наших тел снова создавало ощущение близости – эти краткие мгновения словно опять возвращали нас к тому, что некогда, в давние дни, было очагом. Мы поливали герань, о которой целую неделю – с прошлого воскресенья – ни разу не вспоминали, перевешивали на другое место картину, подсчитывали расходы. Но очень скоро бой часов на ближней башне напоминал нам о том, что час добровольного заключения Рут приближается. И каждый раз, отпуская ее на спектакль, я испытывал такое чувство, словно провожал свою

в ссылку Альфреда Дрейфуса – французского офицера еврейского происхождения, которого обвинили в государственной измене.

² *Порция* – жена Децима Юния Брута, вошедшего в историю как один из убийц Цезаря. Здесь подразумевается героиня шекспировской трагедии «Юлий Цезарь». *Ифигения* – дочь Агамемнона, принесенная в жертву, чтобы умиловить богиню охоты и целомудрия Артемиду. Ифигения стала героиней трагедий Еврипида, Эсхила и Гете. *Антигона* – дочь царя Эдипа и Иокасты, героиня появлялась в трагедиях Софокла «Эдип в Колоне» и «Антигона».

³ *Джон Уилкс Бут* (1838–1865) – американский актер, убийца Авраама Линкольна, 16-го президента США. Во время смешной сцены в театре он вошел в ложу президента и выстрелил, рассчитывая, что звук потонет во взрыве хохота. При этом Бут воскликнул: «Такова участь тиранов!» – слова, которые в момент смерти Юлия Цезаря якобы произнес Марк Юний Брут.

⁴ *Нора* – героиня пьесы Г. Ибсена «Нора, или Дом, где не водятся дети», решившая бросить мужа. *Юдифь* – библейская героиня, спасшая свой город от нашествия ассирийцев. *Медея* – героиня древнегреческих трагедий, убившая своих детей из-за мести мужу. *Тесс* – главная героиня романа Т. Гарди «Тесс из рода д'Эрбервилль».

жену в тюрьму, где ей суждено отбывать пожизненное заключение. Звучал выстрел, и с колосников падало чучело птицы – так заканчивалась наша совместная жизнь, наш единственный в неделю Седьмой День⁵.

Однако сегодня обычное течение воскресного дня нарушилось, и виной тому была таблетка снотворного, которую мне пришлось принять перед рассветом, – что-то не шел ко мне в эту ночь сон, как приходил он обычно, стоило мне, по рецепту Муш, положить на глаза черную повязку. Проснувшись, я обнаружил, что жена уже ушла; вынутое из комода и разбросанное повсюду белье, тубики театрального грима по углам, брошенные где попало пудреницы и флаконы говорили о том, что предстоит неожиданный отъезд.

И вот Рут под аплодисменты покинула сцену и, на ходу расстегивая крючки на корсаже, вошла в свою уборную, где я ждал ее. Она захлопнула дверь ногой – точно так, как проделывала это много раз, отчего даже дерево внизу двери стесалось; стянув через голову кринолин, она швырнула его на ковер, и кринолин разлетелся по всей комнате, от стены до стены. Освободившееся от кружев тело Рут вновь предстало мне неизведанным и желанным, но не успел я потянуться к нему с лаской, как нагота его скрылась под бархатом, упавшим вдруг откуда-то сверху, и сразу пахло чем-то с детства знакомым – точно так же пахли вещи, которые моя мать прятала в потайных уголках своего шкафа из каобы. Гнев поднялся во мне, гнев против этой глупой профессии, заключавшейся в притворстве, которая теперь всегда вставала между нами, словно меч ангела из какой-нибудь агиографии⁶; гнев против пьесы, которая разделила надвое наш дом и швырнула меня в другой; в дом, где стены были украшены знаками Зодиака и где любое мое желание встречалось с распростертыми объятиями. И случилось так потому, что, всей душой желая видеть счастливой Рут, которую тогда страстно любил, я принес в жертву ее так неудачно начавшейся театральной карьере свою судьбу и поступил на службу, которая давала нам средства к существованию, но стала для меня точно таким же заточением, каким для Рут стал театр.

Стоя ко мне спиной, Рут разговаривала, глядя на меня в зеркало и не переставая пачкать свое живое лицо жирным гримом; она рассказала, что сразу же по окончании спектакля они всей труппой отправятся на гастроли в другой конец страны и что она уже отнесла в театр свои чемоданы. Она рассеянно спросила, как прошел вчера просмотр фильма. Но только я собрался рассказать об успехе и напомнить ей, что конец этой работы означал для меня начало отпуска, как в дверь постучали. Рут поднялась; в который раз у меня на глазах превращалась она из моей жены в героиню. Приколов к талии искусственную розу, Рут, словно извиняясь, поглядела на меня и направилась к выходу на сцену, туда, где только что поднялся занавес, выпустив в зал волны пропахшего пылью и ветхим деревом воздуха. Она еще раз оглянулась, помахала мне на прощанье рукой и пошла по тропинке, окаймленной карликовыми магнолиями. У меня не было ни малейшего желания ожидать следующего антракта, во время которого бархатное платье будет меняться на атласное, а на слой старого грима будет накладываться новый. И я вернулся домой, в наш дом, где и сейчас, когда Рут уже не было там, все напоминало о ней в этом беспорядке, вызванном поспешным уходом. Подушка еще хранила след ее головы; на ночном столике остался недопитый стакан воды с какими-то осевшими на дно зелеными каплями, тут же лежала раскрытая на недочитанной главе книга. Еще не просохло пятно от пролитого лосьона. В записке, которой я не заметил в первый раз, сообщалось о неожиданном отъезде: «Целую. Рут. Р. S. В письменном столе бутылка хереса».

Жуткое чувство одиночества охватило меня. Впервые за одиннадцать месяцев я оказался совершенно один. Не было никакого дела, за которое срочно надо было приниматься, и некуда

⁵ *Седьмой День* – намек на религиозную секту «Адвентисты седьмого дня». Они проповедуют скорое пришествие Мессии и святое сохранение субботы в качестве дня отдыха.

⁶ *Агиография* – научная дисциплина, изучающая жития святых и богословские аспекты святости.

было торопиться из дому. Шум и сумятица киностудии были далеко, а здесь царила тишина, которую не нарушали ни бездушная магнитофонная музыка, ни громовые голоса. И именно потому, что делать было нечего, все сильнее становилось предчувствие какой-то неясной опасности. Я вдруг смутился, почувствовав, что в этой комнате, сохранявшей еще аромат духов ушедшей отсюда женщины, я готов затеять разговор с самим собой. И тут же поймал себя на том, что уже разговариваю вполголоса. Я снова лег в постель и, глядя в потолок, постарался вспомнить последние годы. И ясно увидел, как они пробежали, от осени к весне, когда на смену северным ветрам приходила жара и асфальт становился мягким; годы бежали, а у меня не было времени прожить их, и только из меню в ночном ресторане я неожиданно узнавал, что вернулись из теплых краев дикие утки, или что разрешена ловля устриц, или что созрели каштаны. Иногда о смене времени года напоминали мне красные бумажные колокольчики, появлявшиеся в витринах магазинов, или грузовики, привозившие в город рождественские деревья, запах которых на несколько секунд словно преображал улицы. Но были в моей жизни провалы – целые недели, не оставившие по себе ни одного мало-мальски стоящего воспоминания, ни следа какого-нибудь из ряда вон выходящего чувства или глубокого и длительного волнения; целая вереница дней, когда, что бы я ни делал, мне неизменно казалось, что точно то же самое и в подобных обстоятельствах я уже делал раньше, – уже сидел вот так на этом самом месте, рассказывал эту самую историю, точно так же глядя на парусник под стеклом пресс-папье. И, отмечая день своего рождения в кругу одних и тех же примелькавшихся лиц, в том же самом месте и под ту же самую подхватываемую хором песню, я постоянно ловил себя на мысли, что этот день рождения разнится от предыдущих лишь тем, что добавилась еще одна свеча на именинном пироге, по вкусу ничуть не отличавшемся от предыдущих. Подниматься и спускаться по склонам этих дней, с одним и тем же грузом на плечах, я заставлял себя лишь усилием воли, которая все равно сдала бы в один прекрасный день, и, быть может, как раз в один из дней этого года. Однако в мире, где мне выпало жить, уйти от этого было все равно что пытаться оживить сказания о подвигах святых и героев. Ибо нам выпало жить в эпоху Человека-осы, Человека-никто, в эпоху, когда души продаются не Дьяволу, а Бухгалтеру или галерному надсмотрщику. И, увидев, что бунтовать бесполезно, потому что, по существу, позади у меня уже две погубленные юности: одна по ту сторону моря, а здесь вторая, – поняв это, я решил, что едва ли смогу обрести иную свободу, кроме той, которую дают мне мои бесшабашные ночи, до краев наполненные самыми необузданными развлечениями. Душа моя на день запродана Бухгалтеру – думал я о себе в шутку; но ему, Бухгалтеру, и невдомек, что по ночам я совершаю удивительные путешествия по лабиринту невидимого ему города, города в городе; там где-нибудь в «Венусберге»⁷ или в доме, украшенном созвездиями, я мог забыть о прожитом дне, если разбуженные вином прихоти порока не влекли меня в тайные места, у входа в которые человек оставляет свое имя.

Отсиживая на службе один на один с точными приборами – часами, хронометрами и метрономами, – целый день при электрическом свете в комнате без окон, стены которой обиты войлоком и изоляционными материалами, вечером я выходил на улицу и инстинктивно искал развлечений, которые позволили бы мне не замечать хода времени. Повернувшись спиной к часам, я пил и развлекался до тех пор, пока выпитое вино и усталость не швыряли меня к ногам будильника, и тогда я пытался заснуть, положив на глаза черную повязку, отчего становился похожим на отдыхающего Фантомаса...

Это смешное сравнение развеселило меня. Я осушил большой стакан хереса в надежде заглушить не унимавшийся во мне внутренний голос. Херес разбудил вчерашний алкоголь, и я высунулся в окно в комнате Рут, отметив про себя, что аромат, оставленный Рут, уже начал

⁷ *Венусберг* – по-другому «Венерина гора», на которой, по народному сказанию, гости Венеры наслаждаются беззаботной жизнью до Страшного суда. Здесь – название кабачка.

отступать перед запахом ацетона. Сквозь белесый туман, который только и был виден, когда я проснулся, начинало проступать лето с его пароходными гудками, несущимися с реки на реку через крыши домов. Наверху, в ключьях таявшего тумана тонули вершины города: нетускнеющие шпили католических храмов, купола православной церкви и здания огромной клиники, где священнодействовали жрецы в белых мантиях, – здания с классическими антаблементами, чересчур придавленными высотой постройки – творение архитектуры начала века, когда архитекторы потеряли чувство меры в своем стремлении уводить здания ввысь. Массивный и безмолвный морг, с его бесконечными коридорами, одновременно напоминавший синагогу и концертный зал, выглядел серой тенью громады родильного дома; по фасаду родильного дома, лишенного каких бы то ни было украшений, тянулся ряд как две капли воды похожих одно на другое окон; их я обыкновенно принимался пересчитывать, лежа по воскресеньям в постели жены, когда все темы для разговора были исчерпаны. От асфальтовой мостовой поднимался голубоватый удушливый дымок выхлопных газов и смешивался с бесчисленными испарениями, оседавшими в пропахших помойкой дворах; в глубине таких дворов, где-нибудь в тени, высунув язык и вытянув лапы, точно тушки освежеванного кролика, задыхались от жары псы.

Колокола отзвонили «Аве Мария». Мне вдруг нестерпимо захотелось узнать, какого именно святого праздновали сегодня, 4 июня. В ватиканском издании, по которому я когда-то изучал григорианские хоралы, значился святой Франциск Каррачоло. Мне это имя не говорило ничего. Я отыскал «Книгу житий», изданную в Мадриде; эту книгу частенько читала мне мать в те дни, когда какой-нибудь легкий недуг спасал меня от школьных занятий. Но и там ничего не говорилось о Франциске Каррачоло. В поисках святого я пробежал несколько страниц с благочестивыми заголовками поверху: «Росу посещает посланец неба», «Роса борется с дьяволом», «Чудесное явление – святой лик покрывается кровавым потом». Страницы были украшены каймой, в которую вплетались латинские слова: *Sanctae Rosae Limanae, virginis. Patronae principalis totius Americae Latinae*⁸. И пыльные стихи святой, обращенные к ее божественному супругу:

Горе мне! О где же, где же
Ты, любовь моя?
Наступает жаркий полдень.
Где ты? Нет тебя!

Язык, на котором я говорил в детстве, разбудил во мне далекие, давно забытые воспоминания, и горечь твердым комком подкатила к горлу. Решительно, бездействие расслабляло меня. Я допил остатки хереса и снова выглянул в окно. Ребятишки, игравшие в тени четырех покрытых пылью елей парка Модело, то и дело забывали свои выстроенные из серого песка крепости и с завистью глядели, как несколько проказников, забравшись в городской фонтан, резвились в воде, усеянной папиросными окурками и обрывками газет. Это навело меня на мысль отправиться поплавать куда-нибудь в бассейн. Мне не следовало оставаться дома один на один с самим собой. Пока я отыскивал купальный костюм, которого в шкафу не оказалось, мне пришло в голову, что, пожалуй, лучше бы сесть в поезд и поехать куда-нибудь в лес подышать свежим воздухом. И вот я уже шел к вокзалу; по дороге я остановился перед музеем – сейчас там была открыта большая выставка абстрактного искусства, о которой оповещали укрепленные на шестах фигуры в виде грибов, звезд и деревянных бантов; банты не переставая крутились, распространяя вокруг себя запах лака. Я уже собирался подняться по лестнице, когда увидел, что совсем рядом остановился автобус до планетария, и мне тут же представилось, что необходимо срочно поехать в планетарий, чтобы потом посоветовать Муш что-нибудь

⁸ Святой девы Росы Лимской, первой покровительнице всей Латинской Америки (*лат.*).

по части оформления ее студии. Но автобус все не отправлялся, и я в конце концов вышел и двинулся куда глаза глядят; подавленный широким выбором, вдруг открывшимся мне, я остановился на первом же углу и стал разглядывать рисунки, которые делал прямо на асфальте цветными мелками какой-то инвалид с боевыми медалями во всю грудь.

Бешеный ритм моей жизни нарушился, и я, вырвавшись на целые три недели из учреждения, которому в обмен на средства к существованию продал несколько лет жизни, не знал теперь, как использовать свой досуг. Чувствуя себя почти больным от этого неожиданно свалившегося на меня отдыха, я заблудился среди знакомых улиц, запутавшись в собственных смутных, не успевающих оформиться желаниях. То мне вдруг хотелось купить «Одиссею», то последние детективные романы, но потом потянуло к «Американским комедиям» Лопе (выставленным в витринах у Брентано), чтобы снова встретиться с языком, которого я никогда не употреблял, хотя «неся в себе так много», я мог только умножать и складывать на испанском. Тут же, в витрине, был выставлен «Прометей Освобожденный»⁹, и я сразу забыл обо всех остальных книгах, потому что это название напомнило мне о моих старых замыслах одного музыкального сочинения. Я написал тогда вступление, заканчивавшееся величественным хоралом, который вели металлические духовые инструменты; однако дело не дошло даже до первого речитатива Прометея, гордого вопля его бунтующей души:

...regard this Earth
Made multitudinous with thy slaves, whom thou
requeitest for knee-worship, prayer, and praise,
and toil, and hecatombs of broken heart,
with fear and self-contempt and barren hope¹⁰.

Надо сказать правду, я увидел много интересного в этих витринах, мимо которых месяцами проходил, не имея времени остановиться и посмотреть, что там выставлено. Была здесь карта с изображением островов, окруженных галеонами и розами ветров; рядом – трактат по анатомии, а подле него реклама ювелира – портрет Рут в бриллиантах, взятых у него напрокат. И, вспомнив о том, что она уехала, я неожиданно почувствовал раздражение: ведь это за ней – и только за ней – гнался я сейчас по городу, потому что она была единственным человеком, с кем мне хотелось быть рядом в этот душный вечер, когда в воздухе стоял туман и на фоне темного неба однообразно мигали первые световые рекламы. И на этот раз роли, сцена и расстояние легли между нашими телами, которым и без того наши редкие встречи в Седьмой День уже не приносили тех радостей, которые познали мы в первые дни близости.

К Муш идти было еще рано. Мне надоело пробираться в густом встречном потоке людей, чистящих апельсины и шуршащих серебряными бумажками, и захотелось выйти на аллею, в тень деревьев. Я уже выбрался из толпы, которая возвращалась со стадиона и все никак не могла успокоиться, продолжая горячо и с удовольствием обсуждать спортивные новости, как вдруг несколько прохладных капель упало мне на руку. Теперь, когда этот день кажется мне бесконечно далеким, я вспоминаю ощущение, возникшее во мне в тот момент, когда капли нежными уколами тронули мою кожу, и теперь оно представляется мне первым, тогда еще не осознанным предвестником грядущей встречи. Казалось бы, обычной встречи, как обыкновенны на первый взгляд все встречи, истинный смысл которых познается гораздо позже, в переплетении всех сложностей и противоречий. Но нам, конечно, следует искать начало всего

⁹ «Прометей Освобожденный» – драма английского поэта Перси Биши Шелли (1792–1822), вдохновленная трагедией Эсхила «Прометей прикованный».

¹⁰ Взирайте теперь на землю, полную рабов, И заставляйте же их тебе повиноваться, И гекатомбы, и слезы, тяжкий труд без снов, Они от страха разобьют сердца и растворятся... (Перевод М. Смирнов).

в этой грозе, которая в тот вечер разразилась дождем такой неожиданной силы, что гром ее казался явлением иных широт.

II

Туча пролилась дождем как раз в тот момент, когда я шел по длинному тротуару мимо задней стены огромного концертного зала, и прохожему тут негде было укрыться. Я вспомнил, что где-то здесь должна быть железная лестница, которая вела к служебному входу; среди тех, кто как раз в это время входил туда, я увидел знакомых и без труда прошел с ними на сцену, где участники знаменитого хора уже стояли, разобравшись по голосам, собираясь подняться на трибуны. Литаврист пробовал пальцами барабан и литавры, которые от жары отзвывались чересчур высоким тоном. Зажав подбородком скрипку, концертмейстер то и дело брал на рояле «ля», в то время как фаготы, флейты, валторны клокотали перегоняющими друг друга гаммами, трелями и пассажами, пока наконец не наступал порядок. Всякий раз, когда я видел, как, сидя за пюпитрами, оркестранты настраивают инструменты, мною овладевало нетерпеливое чувство в ожидании того момента, когда наконец беспорядочные звуки перестанут разъезжаться и соберутся в стройный организованный ряд, заведомо подчиненный человеческой воле, и другой человек, управляющий этой волей, жестами выразит ее. Но этот другой в свою очередь будет подчиняться замыслу, родившемуся веком, а то и двумя раньше его. В обложках партитур, выраженные нотными знаками, заключены указания людей, которые теперь уже мертвы; останки одних покоятся в пышных мавзолеях, кости других затерялись в заброшенных общих могилах, но и те и другие хранят власть над временем, они по-прежнему обладают способностью завладевать иногда вниманием и страстями своих потомков. Порою случается, думалось мне, что после смерти сила их идет на убыль, а бывает, напротив, что только после смерти приобретают они подлинную власть над людьми. Вздумай кто-нибудь проследить, и он бы обнаружил, что бывали годы, когда успехом пользовался Бах, в другие – Вагнер одновременно с Телеманом и Керубини¹¹. Года три, наверное, не меньше, не был я в симфоническом концерте. На студии я успевал наслушаться и плохой музыки, и хорошей, которую, однако, использовали в недостойных целях, и потому мне казалась абсурдной даже мысль вновь погружаться в звуки, выливающиеся в ухищрения фуги или в сонатную форму. Именно поэтому, усевшись почти неожиданно для себя здесь, в темном углу, за футлярами контрабасов, я испытывал непривычное удовольствие, наблюдая за тем, что происходило на сцене в этот грозовой вечер, когда на улице приглушенный грохот грома, казалось, прокатывался по лужам. Внезапно наступившую короткую тишину оборвал жест: валторны взяли легкую квинту, затрепетавшую в тремоло вторых скрипок и виолончелей, и на этом фоне родились две нисходящие ноты, словно упав со смычков первых скрипок и альтов, две ноты, звучащие разочарованием, которое переходит в тоску, гнетущую тоску, подгоняемую страшной, неожиданно прорвавшейся силой... Я поднялся, чувство досады овладело мною. Сегодня после такого перерыва как нельзя более некстати была эта музыка, которая разрасталась в крещендо сейчас у меня за спиной. Я должен был догадаться об этом, увидев поднимавшийся на сцену хор. Правда, можно было подумать также, что собираются исполнять классическую ораторию. Но если б я знал, что на пюпитрах лежит Девятая симфония¹², я бы прошел мимо даже под проливным дождем. И тем более не мог я слушать это *Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium*!¹³, что были у меня воспоминания, запавшие еще в далекие дни детства, воспоминания, которых

¹¹ *Телеман Георг Филипп* (1681–1767) – немецкий композитор, музыкальный критик, работал со всеми современными ему жанрами музыкального искусства. *Керубини Луиджи* (1760–1842) – итальянский композитор, главный представитель жанра французской героической оперы.

¹² *Девятая симфония*... – последняя симфония Бетховена, включающая в себя поэмы Фридриха Шиллера, текст которых исполняется хором.

¹³ *Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium*... – «Радость, пламя неземное, райский дух, слетевший к нам...» (нем.). – строка из «Оды к Радости», поэмы Шиллера.

я старался избегать, подобно тому как отводят глаза от предметов, напоминающих о смерти близкого человека. Кроме того, как и многие люди моего поколения, я не выносил ничего «возвышенного». «Ода» Шиллера претила мне, равно как и пир рыцарей Монсальвата или поклонение Граалю...¹⁴

И вот я уже снова шел по улице, шел в надежде встретить по дороге какой-нибудь бар. Если б за рюмкой ликера мне пришлось далеко идти, я бы тут же впал в отчаяние, хорошо мне знакомое, когда я чувствую себя словно замурованным в четырех стенах, мучаюсь бесконечно от того, что ничего не могу поменять в своей жизни, неизменно подчиненной чужой воле, если, правда, не считать свободы выбирать за завтраком между мясом и злаками. Дождь полил сильнее, и я побежал. Свернув за угол, я ткнулся головой прямо в раскрытый зонтик; ветер вырвал его из рук хозяина и гнал под колеса машины. Все это показалось мне настолько смешным, что я не выдержал и расхохотался. Я думал, что меня обругают, но вместо этого чей-то мягкий голос назвал меня по имени: «Я тебя разыскивал, но потерял адрес». И Хранитель, с которым мы не виделись больше двух лет, сказал, что у него для меня есть подарок – необыкновенный подарок. Подарок ожидал меня неподалеку, в старом доме, построенном, верно, в начале века; окна дома были грязны, а посыпанные гравием дорожки перед входом казались в этом квартале анахронизмом.

Плохо перетянутые выпирающие пружины кресла впивались мне в тело, словно суровая власяница, и я весь скорчился в неудобной позе. В овальном зеркале, заключенном в тяжелую раму в стиле рококо и увенчанном гербом графа Эстергази, я видел себя, неестественного и скованного, словно ребенок, которого повезли с парадными визитами. Проклинаю свою астму и затушив обычную сигарету, от которой он задыхался, Хранитель Музея истории музыкальных инструментов закурил взамен самодельную сигарету из листьев дурмана; мелкими шажками он расхаживал по небольшому залу, сплошь увешанному цимбалами и азиатскими бубнами, собираясь заварить чай, к счастью, кажется, приправленный мартиникским ромом. Между двумя полками висела флейта работы инков, на рабочем столике в ожидании каталогизации лежал тромбон времен завоевания Мексики; раструб этого великолепного инструмента был выделан в виде головы дракона, украшенной серебряными чешуйками и глазами из эмали; из раскрытой пасти глядели два ряда медных зубов. «Он принадлежал Хуану де Сан Педро, трубачу из свиты Карла V и славному всаднику Эрнана Кортеса¹⁵», – объяснил мне смотритель, пробуя, настоялся ли чай. Потом он разлил ликер по рюмкам, предварительно заметив – что показалось мне необычайно смешным, если принять во внимание, кому это говорилось, – что потребность принимать время от времени немного спиртного – атавизм, поскольку везде и во все времена человек не переставал изобретать напитки, которые способны вызывать у него опьянение. Оказалось, что подарок мой не здесь, но что за ним пошла глухая, еле передвигающая ноги старуха служанка.

Я поглядел на часы с таким видом, словно впереди меня ждало важное свидание. Но часы мои остановились на двадцати минутах четвертого; я не завел их накануне вечером, желая как следует свыкнуться с мыслью о том, что я в отпуске. Я спросил озабоченным тоном, который теперь час, но в ответ услышал, что это не имеет ровным счетом никакого значения, просто тучи заволокли все небо, и потому так рано стемнело в этот июньский день, один из самых длинных в году. Хранитель показал мне *Pange lingua*¹⁶ монахов монастыря святого Галла и первое издание «Книги чисел»¹⁷, содержащее руководство для игры на виуэле, показал и ред-

¹⁴ Монсальват – замок, в котором находится Святой Грааль, чаша, в которую была собрана кровь Христа.

¹⁵ Эрнан Кортес (1485–1547) – знаменитый испанский конкистадор, завоеватель Мексики, уничтоживший государственность ацтеков.

¹⁶ *Pange lingua* – сборник католических гимнов, названный по первым словам двух гимнов, исполняющихся на Страстной неделе и праздниках тела Господня.

¹⁷ «Книга чисел» – четвертая из Торы (пятикнижие Моисея), то есть первых пяти книг Библии.

кое издание *Ostoechos* святого Иоанна Дамаскина¹⁸. Хранитель подтрунивал над моим нетерпением, а меня терзали досада и раздражение из-за того, что я дал себя затащить сюда, где мне абсолютно нечего делать среди этих валом наваленных по темным углам лютней, свирелей, вырванных колков, склеенных грифов и органчиков с изорванными мехами. Я уже собирался было решительным тоном сказать, что приду за подарком как-нибудь еще, в следующий раз, как вошла служанка, предусмотрительно сняв у входа галоши.

То, за чем она ходила для меня, оказалось граммофонной пластинкой, записанной только на одной стороне и без наклейки. Хранитель поставил ее на патефон. Осторожно и не торопясь он выбрал самую мягкую иглу. «По крайней мере, – подумал я, – это не займет много времени – минуты две, не больше, если судить по неширокой полосе записи на пластинке». Я повернулся уже, чтобы вновь наполнить рюмку, как вдруг за спиной у меня раздалась птичья трель. Я в изумлении посмотрел на старика; он глядел на меня так мягко и по-отечески улыбаясь, словно одарил бесценным подарком. Я хотел задать ему вопрос, но он пальцем указал на крутящуюся пластинку, призывая меня помолчать. Без сомнения, сейчас должно было зазвучать что-то иное. Однако этого не произошло. Игла прошла уже половину записи, а однообразная песня все продолжалась, время от времени ненадолго прерываясь. Нельзя сказать, что птица, исполнявшая песню, была особенно музыкальной: она не делала никаких трелей, никаких украшений; всего три ноты, одни и те же, по звучанию очень походившие на сигналы азбуки Морзе. Пластинка уже подходила к концу, а я все никак не мог понять, в чем же заключался подарок, который так расхвалил мне этот человек, бывший некогда моим учителем. Я недоумевал, какое отношение ко мне имеет этот, возможно, интересный для орнитолога документ. Наконец нелепое прослушивание закончилось, и Хранитель, разом преобразившись, ликующий, обратился ко мне: «Понимаешь? Понимаешь, что это значит?» И объяснил, что пела вовсе не птица, а инструмент, изготовленный из обожженной глины; пользуясь этим инструментом, индейцы самого отсталого из всех племен на континенте подражали птичьему пению перед тем, как начать охоту на птицу, полагая, что поскольку им удалось стать властелинами над голосом этой птицы, то и охота будет удачной. «Это лучшее подтверждение вашей теории», – сказал мне старик, почти повисая у меня на шее, а кашель уже снова душил его. Именно потому, что я слишком хорошо понимал, что имел в виду старик, второй раз я прослушивал пластинку с еще большим раздражением, чему, надо сказать, немало способствовали две выпитые мною рюмки рома. Птица, которая оказалась вовсе не птицей, с этой ее песней, которая была вовсе не песней, а всего-навсего магическим передразниванием, вызвала у меня в душе болезненный отклик, напомнив о той работе по истории происхождения музыки и примитивных музыкальных инструментов, которую я проделал много лет назад. Однако напугало меня не то, что их было много, этих лет, а то, с какой бесполезной скоростью они промчались. Это было после того, как война неожиданно прервала мою работу над сочинением претенциозной кантаты о Прометее Освобожденном. С войны я вернулся уже другим человеком, настолько отличавшимся от того, прежнего, что и законченное вступление и наброски первой сцены так и остались лежать запакованными в шкафу, а я сам занялся эрзацами кино- и радиомузыки. В той обманчивой страсти, с которой я защищал эти характерные для нашего века искусства, утверждая, что они открывают безграничные перспективы для композиторов, я, очевидно, искал выхода чувству виновности, которое испытывал перед заброшенным мною делом; очевидно, я просто искал оправдания тому, что поступил на службу в коммерческое предприятие после того, как Рут и я разбили жизнь другого, прекрасного человека. Но когда любовная лихорадка прошла, я очень скоро понял, что призвание моей жены невозможно совместить с тем образом жизни, о котором мечтал. И я, пытаясь скрасить то время, когда она бывала занята в спек-

¹⁸ *Ostoechos* святого Иоанна Дамаскина. – *Ostoechos*, свод церковных песнопений, автором которых является христианский проповедник из Сирии Иоанн Дамаскин (VII в.).

таклях или уезжала на гастроли, искал себе дело, которое бы занимало у меня и воскресенья, и весь досуг, и в то же время не поглощало бы меня целиком. Вот так я и попал в дом Хранителя; Музей истории музыкальных инструментов, которым он ведал, был гордостью прославленного университета. Именно в этих стенах я познакомился с самыми примитивными видами ударных инструментов, выдолбленных из стволов деревьев, челюстей животных, которые человек заставлял звучать в те долгие дни, когда он впервые вышел на планету, тогда еще дыбившуюся гигантскими скелетами; в те дни, когда человек только начинал еще постигать путь, приведший его к «Мессе папы Марцелла» и «Искусству фуги». Побуждаемый своего рода ленью, которая состоит в том, чтобы отдавать свою быющую через край энергию делу, которым как раз совсем не обязательно заниматься, я увлекся методами классификации и морфологическим исследованием этих изделий из дерева, обожженной глины, обработанной меди, выдолбленного тростника, выделанных кишок и козлиных шкур – словом, прародителей тех производящих звуки инструментов, которые затем, пройдя через тысячелетия, продолжали жить, покрываясь под рукой кремонских мастеров чудесным лаком или превращаясь в богато выделанные трубы органов, сопровождавших богослужение. Я не разделял общепринятых в то время взглядов на происхождение музыки и взялся разрабатывать хитроумную теорию, которая должна была объяснить рождение первоначальной ритмики попыткой подражать движениям животных или пению птиц. И если допускать, что первые изображения оленей и бизонов на стенах пещер были не чем иным, как охотничьим обрядом, который наши предки наделяли магической силой, – чтобы овладеть добычей, надо предварительно стать владельцем ее изображения, – я не слишком ошибался, полагая, что элементарные ритмы взяли свое начало от шага, бега, прыжков, подскакивания, трелей и птичьих переливов, которые человек выстукивал рукой на каком-нибудь звучащем предмете или повторял, дуя в отверстие тростникового стебля.

Сейчас, слушая пластинку, я испытывал почти бешенство при мысли о том, что моя хитроумная и, может быть, совершенно правильная теория отошла в область несбыточных снов, которым наше время с присущей ему всеподавляющей каждодневной суматохой не позволяет осуществиться.

Хранитель снял иглу с пластинки. Глиняная птица перестала петь. И случилось то, чего я больше всего боялся: зажав меня в углу, Хранитель принялся участливо расспрашивать, как продвигается моя работа, то и дело повторяя, что у него достаточно времени, чтобы внимательно выслушать и подробно все обсудить. Ему хотелось знать подробности моих поисков, познакомиться с моими теперешними новыми методами исследования, тщательно разобрать выводы, к которым я пришел относительно происхождения музыки, – словом, все, о чем я когда-то думал, развивая свою хитроумную теорию ритмико-магического миметизма. Видя, что деваться некуда, я стал выкручиваться, выдумывая различные препятствия, которые якобы встали на пути моих исследований. Но занимался этим я так давно, что тут, понятно, стал до смешного глупо перебирать специальные термины, запутался в классификации и не сумел справиться с основными фактами, которые когда-то прекрасно знал. Я попытался было опереться на библиографию, но тут же понял – по иронически сделанной им поправке, – что эта библиография уже давно отвергнута специалистами. И когда я, сделав еще одну попытку, заговорил о том, что необходимо якобы взяться за обобщение каких-то песен первобытных племен, записанных исследователями, в голосе моем медным звоном зазвенела такая фальшь, что я тут же беспомощно запутался окончательно на самой середине фразы, непростительно забыв один из терминов. В зеркале я увидел жалкое лицо шулера, пойманного как раз в тот момент, когда он прятал в рукав крапленую карту, – это было мое лицо. И таким отвратительным я показался себе, что стыд мой вдруг обратился в ярость, и я вылил на Хранителя целый поток грубостей; я спросил его, неужели он думает, что теперь кто-нибудь может прожить за счет изучения примитивных музыкальных инструментов. Он знал мою историю, знал, что в юно-

сти я под влиянием ложных представлений взялся за изучение искусства, находившего сбыт лишь у самых низкопробных торговцев на Тин-пэн-аллей, знал, что затем меня долгие месяцы швыряло по развалинам в качестве военного переводчика, пока наконец снова не выбросило на асфальт города, туда, где нищету было переносить труднее, чем где бы то ни было. Я, сам переживший такое, знал, как страшно существование тех, кто по ночам стирает свою единственную рубашку, ходит по снегу в рваных башмаках и докуривает чужие окурки; я знал, что голод способен довести до такого состояния, когда все умственные усилия сосредоточиваются на единственной мысли – как бы поесть.

То, что предлагал мне теперь Хранитель, было не менее бесплодно, чем продавать от зари до зари лучшие часы своей жизни. «И, кроме того, – кричал я ему, – я пуст. Пуст! Пуст!» Бесстрастно, как бы издали, глядел на меня Хранитель, словно он ожидал от меня этой внезапной вспышки. И я заговорил снова, но теперь уже глухим голосом, запинаясь, точно сдерживая какое-то мрачное возбуждение. И словно грешник, извлекающий на исповеди черный мешок своих прегрешений, понукаемый желанием предаться самобичеванию со всей страстью, едва не проклиная себя, я в самых мрачных красках и с отвратительными подробностями расписал учителю свою никчемную жизнь, рассказал ему о том, как день оглушает меня, и о том, как забываюсь ночью.

Я бичевал себя так, точно это не я говорил, а кто-то другой, некий судья, сидевший во мне, но о существовании которого я и не подозревал; и этот судья моими словами выражал свои мысли. И, услышав его, я ужаснулся, поняв, как трудно снова стать человеком, если ты уже перестал им быть. Между моим теперешним *Я* и тем *Я*, каким я когда-то мечтал стать, темнела бездонная пропасть потерянных лет. И теперь я молчал, а моими устами говорил этот судья. Мы уживались с ним в одном теле – он и я, но нас поддерживало нечто единое, что ощущалось теперь и в нашей жизни, и в нашей плоти, – дыхание смерти. Из зеркала, заключенного в затейливую барочную рамку, на меня смотрело существо, в котором действовали и Распутник, и Святой в одно и то же время – характерные персонажи всякой поучительной аллегории, всякого нравоучения.

Чтобы отделаться от изображения в зеркале, я перевел взгляд на книжные полки. Но и там, в углу, за сочинениями музыкантов Ренессанса, рядом с томами «Псалмов Давида», как нарочно, выделялся кожаный корешок *Rappresentazione di anima e di corpo*¹⁹. Занавес упал – представление окончено; Хранитель молчал, не нарушая горечи наступившей тишины. И вдруг сделал жест, заставивший меня подумать о невероятном могуществе прощения. Потом он медленно встал, поднял телефонную трубку и набрал номер ректора университета, в здании которого помещался Музей истории музыкальных инструментов. Со все возрастающим удивлением и не отваживаясь поднять глаз, я выслушал похвалы по своему адресу. Хранитель представил меня как того самого человека, который необходим музею, чтобы найти некоторые инструменты американских туземцев, как раз недостающие в их коллекции, представляющей собой самое богатое по обилию экземпляров собрание в мире. Не заостряя внимания на моих профессиональных знаниях, он особенно упирал на тот факт, что здоровье мое, проверенное войной, позволило бы мне вести поиски в районах, трудно проходимых для старых специалистов. И, кроме всего прочего, испанский язык был моим родным языком. Каждый новый высказываемый им аргумент должен был все выше поднимать меня в глазах его невидимого собеседника, постепенно превращая меня в нечто вроде молодого фон Хорнбостеля²⁰. И чем дальше, тем я все больше и со страхом убеждался, что он уже окончательно избрал меня для того, чтобы пополнить свою коллекцию диковинных инструментов разнообразностью барабана и палкой для отбивания ритма, которых не знали Шеффнер и Курт Закс, а также знаме-

¹⁹ «Представление о душе и теле» (итал.).

²⁰ Эрих Мориц фон Хорнбостель – австрийский музыковед начала XX в., основатель музыкальной этнографии.

нитым глиняным сосудом с двумя вставленными в отверстия тростниковыми трубками, который некоторые индейцы использовали на погребальных церемониях и который был описан в 1651 году братом Сервандо де Кастильехос в его трактате *De barbarorum Novi Mundi moribus*²¹; этого инструмента не было ни в одной коллекции музыкальных инструментов, хотя, следуя традициям, народ, должно быть, по-прежнему извлекал из него ритуальный рев, о чем свидетельствовали совсем недавние упоминания исследователей и торговцев. «Ректор ждет нас», – сказал наконец мой учитель. И тут все это показалось мне до того нелепым, что я чуть не рассмеялся. Я попробовал было любезно отказаться, ссылаясь на свое теперешнее невежество и на то, что утратил все навыки исследовательской работы. Сказал, что мне неизвестны новейшие методы классификации, которые основываются на морфологической эволюции инструментов, а не на принципах их звучания и игры на них. Но Хранитель, казалось, был непреклонен в своем решении послать меня туда, куда мне ехать совсем не хотелось, и к тому же он привел такой довод, на который мне нечего было возразить: эту работу я мог бы провести довольно быстро во время своего отпуска. Теперь уже вопрос ставился так: предпочитаю ли я совершить плаванье по невиданной реке или топтать опилки какого-нибудь бара. По правде говоря, у меня не оставалось ни одного сколько-нибудь стоящего повода отказаться от предложения. Принимая мое молчание за согласие, Хранитель пошел в соседнюю комнату за своим пальто – прямо в стекло бил дождь. Я воспользовался возможностью поскорее уйти из этого дома. Хотелось выпить. Единственным моим желанием сейчас было как можно быстрее добраться до ближайшего бара, все стены которого были завешаны фотографиями скаковых лошадей.

²¹ «О нравах дикарей Нового Света» (лат.).

III

На пианино лежала записка – Муш просила ее подождать. Чтоб хоть чем-нибудь заняться, я попробовал играть и, поставив стакан прямо в угол клавиатуры, взял наугад несколько аккордов. Пахло краской. Постепенно за пианино, на задней стене комнаты, стали проступать изображения созвездий Гидры, Стрельца, Волос Вероники и Корабля Арго, что должно было придать студии моей приятельницы весьма подходящее своеобразие. Поначалу я смеялся над астрологическими занятиями Муш, но в конце концов стал преклоняться перед прибылью, поступавшей от гороскопов, которые она рассылала по почте, оставаясь при этом свободной, и иногда даже давала советы лично; последнее она считала исключительным одолжением и проделывала с комической серьезностью. Таким образом, исходя из положения Юпитера в созвездии Рака и Сатурна в созвездии Весов и черпая сведения в различных диковинных трактатах, Муш с помощью акварельных красок и чернил составляла карты Судеб. Эти карты, украшенные знаками Зодиака, на которых я, помогая придать им более торжественный вид, начертил *De Coeleste Fisonomia, Prognosticum supercoeleste*²² и другие внушительные латинские надписи, отправлялись в самые отдаленные уголки страны. Как же должны быть люди напуганы жизнью, думалось мне иногда, чтобы допытываться у астрологов, с усердием разглядывать линии на своих руках, изучать свой почерк, тревожиться при виде черной закорючки знака и, коль скоро они не могли уже прочесть судьбу по внутренностям жертвенных животных или, как авгуры, по полету птиц, прибегать к самым древним приемам гадания. Моя приятельница, чрезмерно верившая ясновидцам с таинственным выражением лица, выросла на великой сюрреалистической толкучке и теперь получала удовольствие, помимо пользы, созерцая небо через зеркало книг и перебирая звучные имена созвездий. Возможно, в этом выразилось ее тяготение к поэзии, так как предшествовавшие этому попытки сочинять стихи, которые она напечатала в *plaque*²³, разукрашенной изображениями чудовищ и статуй, заставили ее разочароваться в собственном таланте, как только схлынули первые восторги по поводу того, что ею самой придуманные слова были напечатаны типографской краской. Я познакомился с Муш за два года до этого – в то время, когда Рут, как обычно, была на гастролях; и хотя ночи мои начинались и кончались в постели Муш, ласковых слов друг другу мы сказали очень немного. Порою мы ссорились жесточайшим образом, чтобы потом в гневе кинуться вновь друг другу в объятия, и, лежа рядом, лицом к лицу, осыпали друг друга бранью, пока наконец примирение наших тел и полученное удовольствие не превращали ругань в грубые похвалы. Муш, которая в обычное время была очень сдержанной и, пожалуй, даже немногословной, в такие минуты начинала вдруг говорить языком уличной женщины, на что мне следовало отвечать тем же, потому что именно это сквернословие и доставляло ей самое острое наслаждение. Трудно сказать, было ли чувство, привязывавшее меня к ней, действительно любовью. Порою меня раздражала ее догматическая приверженность образу мыслей и поступкам, принятым в пивных Сен-Жерменского предместья, а усвоенная ею там любовь к пустым словопрениям до того раздражала меня, что я бежал из ее дома, каждый раз решая никогда больше туда не возвращаться. Но проходил день, и к вечеру, начиная уже с нежностью думать о ее выходках, я возвращался; ее тело снова влекло меня, оно стало необходимо мне, ибо в самой сути ее животной страсти было что-то такое требовательное и эгоистическое, что способно было менять природу моей вечной усталости, превращая ее из моральной в физическую. И когда это происходило, меня, бывало, одолевал такой блаженный сон, какой сражал лишь в те редкие дни, когда мне случа-

²² Божественное предсказание о расположении небесных светил (*искаж. лат.*).

²³ Книжечка (*франц.*).

лось возвращаться с прогулок за городом, где аромат деревьев до краев переполнял и словно одурманивал меня.

Мне надоело ждать, и я, злясь, попробовал было взять несколько аккордов большого романтического концерта, но в этот момент дверь открылась, и комната сразу наполнилась народом. Это Муш, раскрасневшаяся, как бывало с ней, когда она немного выпьет, возвратилась с ужина вместе с художником, расписывавшим ее студию, двумя моими ассистентами, которых я никак не ожидал здесь увидеть, художницей-декоратором, которая жила этажом ниже и занималась в основном тем, что вечно шпионила за другими женщинами; с ними пришла и танцовщица, которая как раз в то время готовила своеобразный балетный номер – вместо музыки танец сопровождался ударами в ладоши.

«А у нас сюрприз», – смеясь, объявила моя приятельница. И она быстро стала устанавливать кинопроектор, готовясь прокрутить тот самый фильм, успешный просмотр которого состоялся как раз накануне и ознаменовал начало моего отпуска. Свет погас, и перед моими глазами ожили образы: ловля тунца – восхитительный ритм вытягиваемой сети и отчаянное трепетание рыбы в сетях, со всех сторон окруженных лодками; миноги, выглядывающие из пещер своих скал-башен; извивающиеся тела осьминогов; мелькание угрей и бескрайние медного цвета заросли Саргассова моря. А за ними – натюрморты из улиток и рыболовных крючков; заросли кораллов; призрачные сражения раков, так умело увеличенные, что лангусты казались чудовищными, закованными в броню драконами. Словом, поработали мы хорошо. Еще раз прозвучал самый хороший кусок, сопровождающий все сражение: прозрачные арпеджио челесты и плывущие портаменто мартено²⁴, затем прибой арфы, всплески ксилофона, рояля, ударных инструментов.

На все это ушло три месяца жарких споров, поисков, экспериментов и колебаний, но результат получился удивительный. Текст, написанный одним молодым поэтом вместе с океанографом под бдительным надзором специалистов из нашей студии, достоин был занять место в любой антологии произведений этого жанра. Что же касается музыкального оформления, то моя работа и подавно была вне всякой критики. «Шедевр», – раздался в темноте голос Муш. «Шедевр», – подхватили остальные. Когда зажгли свет, все стали поздравлять меня и просить, чтобы фильм пустили еще раз. Ленту показали снова; но тут пришли новые гости, и мне пришлось крутить его в третий раз. Однако с каждым новым разом, дойдя до увитой морскими водорослями надписи «конец», венчавшей этот примерный труд, во мне оставалось все меньше гордости за дело моих рук. Одна совершенно очевидная истина отравляла то удовольствие, которое я было почувствовал вначале: в результате упорной работы, свидетельствовавшей о прекрасном вкусе и превосходном владении материалом, правильном выборе и расстановке ассистентов и помощников, на свет появился в конечном счете рекламный фильм, как раз такой, какой был заказан учреждению, где я работал, обществом рыболовов, ввязавшимся в суровую борьбу с целой сворой кооперативов. Целый коллектив творческих и технических работников истязал себя долгие недели в темных комнатах ради этого творения из целлулоидной пленки, созданного единственно для того, чтобы привлечь внимание определенной части публики с Альтас-Аласенас к способам промышленного разведения рыбы. Мне показалось, что я слышу голос отца, которому в серые дни вдовства так полюбились повторять афоризм из Священного Писания: «Кривое не может сделаться прямым». Это выражение постоянно было у него на языке, и он повторял его по любому поводу. И сейчас слова Екклезиаста показались мне горькими при мысли, что Хранитель, например, приведишь ему увидеть этот мой труд, только пожал бы плечами, полагая, очевидно, что он с равным успехом мог бы писать по

²⁴ *Челеста* – музыкальный инструмент, напоминающий маленькое пианино. *Портаменто* – прием в пении, когда используется плавный переход от одного тона к другому. *Мартено* – монофонический электроинструмент, названный так по фамилии изобретателя.

небу дымом или так мастерски нарисовать пирожное, чтобы у каждого, кто поглядел на него, потекли слюнки, точь-в-точь как при виде настоящего. И он причислил бы меня к тем, кто малюет пейзажи и разрисовывает стенки – словом, к одному из приверженцев орвьетанца²⁵. К тому же – эта мысль приводила меня в ярость – Хранитель принадлежал к поколению, отравленному «возвышенным», к поколению, которое способно было любить ложи Байрейтского театра²⁶ с их сумерками, пропахшими старым красным плюшем...

Люди задвигались по комнате, чьи-то головы пересекли сноп света, отбрасываемый кинопроектором. «Где технологии развиваются – так это в рекламе!» – закричал рядом со мной, словно угадав мои собственные мысли, художник, русский, совсем недавно перешедший с живописи на керамику. «Ведь мозаика Равенны²⁷ – не что иное, как реклама», – высказался вслед за ним архитектор, яркий приверженец абстрактного. Чьи-то еще голоса вынырнули из потемок: «Да вся религиозная живопись – реклама», «Как и некоторые кантаты Баха». «A Gott der Herr ist Sonn und Schild²⁸ – прямо часть самого настоящего лозунга», «Кино – коллективный труд; фрески тоже создаются группой людей; искусство будущего будет искусством коллективным».

Гости прибывали, многие приносили вино; разговор перестал быть общим, гости разбились на несколько оживленно беседующих групп. Художник стал показывать свои рисунки, изображавшие уродливые фигуры и тела с обнаженной мускулатурой, которые он собирался переносить на керамические подносы в виде объемных таблиц анатомии человеческого тела, что должно было символизировать дух эпохи. «Истинная музыка – это всего лишь построение, основанное на различных частотах», – сказал ассистент оператора и бросил на клавиатуру рояля фарфоровые фишки, намереваясь доказать, что из любых взятых наугад звуков может возникнуть музыкальная тема.

Мы уже перешли на крик, когда в дверях раздался вдруг чей-то зычный бас: «Хальт!» – и мы все замерли, точно восковые фигуры в музее, на полуслове, не успев даже выпустить дым сигареты. Одни застыли, подняв ногу, но так и не сделав шагу, другие с рюмкой в руке, так и не донеся ее до рта. («Я – это я. Я сидел на диване. И собирался чиркнуть спичку о спичечный коробок. Фишки Уго напомнили мне стихотворение Малларме²⁹. Но руки мои собирались зажечь спичку сами, не получив на то указания мозга. Следовательно, я спал. Спал, как все, кто был вокруг меня».) Вошедший отдал следующее приказание, и каждый из нас закончил то, на чем его прервали, – одни фразу, другие жест, третьи сделали наконец шаг, который собирались сделать. Это было одно из излюбленных упражнений Экс-Ти-Эйча – никто и не называл его иначе как по инициалам, и это в конце концов превратилось в своеобразное имя – Экстиэйч,³⁰ подобные упражнения он обычно проделывал, чтобы «разбудить нас», как он говорил, и привести в состояние осмысленное, в котором мы способны были бы анализировать совершаемые нами поступки, как бы незначительны они ни были. Переиначив на свой лад известное философское положение, он любил говорить, что действия «автоматические есть сущность без существования». Муш, следуя своему призванию, занялась астрологической стороной его учения, тезисы которого были увлекательны, но, по моему мнению, уводили в сети восточной мистики, учения пифагорейцев, тибетских тантр и многого, многого другого. Дело в том, что Экстиэйчу удалось навязать нам целую серию упражнений, родственных асанам йогов;

²⁵ *Орвьетанец* – подразумевается фреска «Страшный суд» итальянского художника Луки Синьорелли (1445–1523), которая находится в храме города Орвьето.

²⁶ *Байрейтский театр* – театр, построенный в 1876 году специально для постановки вагнеровских опер.

²⁷ *мозаика Равенны*... – итальянский город Равенна стал столицей византийского экзархата в раннем средневековье, благодаря этому в городе сохранились памятники с византийской мозаикой.

²⁸ «Господь бог – наше солнце и щит» (нем.).

²⁹ *Малларме Стефан* (1842–1898) – французский поэт, один из основоположников символизма.

³⁰ *Экстиэйч* – прозвище, состоящее из английских букв x, t, h.

он заставлял нас дышать определенным образом, отсчитывая время вдоха и выдоха на матры. Муш и ее приятелям казалось, что таким образом они приобретают необычайное могущество над собой и определенную власть, в существовании которой я лично всегда сомневался, в особенности если речь шла о людях, которые привыкли пить и пить каждый день, видя в этом средство от тоски, рожденной неудачами, недовольством самим собой, боязнью, как бы не отвергли рукопись, или просто-напросто страхом перед жестокостью города, потому что всегда чувствуешь себя безымянным в этой никогда не перестающей спешить толпе, где разве что случайно кто-нибудь взглянет на тебя, а если кто-то тебе улыбнется, то за этой улыбкой обязательно будет прятаться расчет.

Сейчас, положив руки на голову танцовщице, Экстийч пытался вылечить ее от внезапно начавшейся головной боли. Остыв окончательно от неумолчной трескотни вокруг, трескотни обо всем на свете, от Dasein³¹ до бокса и от марксизма до попыток Уго видоизменить звучание рояля (для чего он клал под струны осколки стекла, карандаши, листы бумаги и лепестки цветов), я вышел на террасу; вечерний дождь смыл с карликовых лип непреходящий слой сажи, которой каждое лето осыпали их фабричные трубы на другом берегу реки. Меня всегда забавлял на таких сборищах беспорядочный калейдоскоп мыслей и разговоров, перескакивающих от каббалы³² к страху;³³ или рассказы о некоем лице, собиравшемся основать на западе страны ферму и спасти искусство – достояние немногих – путем разведения кур породы леггорн и род-айлэндред. Мне всегда нравились эти скачки от разговоров о трансцендентном к необычному, от споров о театре Изабеллы³⁴ к рассуждениям о гносисе³⁵, от философии Платона к акупунктуре³⁶. Я собирался даже как-нибудь, спрятав среди мебели магнитофон, записать все эти разговоры, дабы показать, сколь головокружительен эллиптический процесс мышления и его словесного выражения. В этой умственной гимнастике, в этой высшего класса акробатике интеллекта я находил, кроме всего прочего, оправдание той моральной неустойчивости, которая в других людях была бы мне ненавистна. Однако выбирать между людьми было не очень сложно. По одну сторону находились коммерсанты и торгаши, на которых я целый день работал и которые только и умели, что тратить накопленное на развлечения, настолько глупые и до такой степени лишенные воображения, что я порою против воли чувствовал себя животным другой породы. По другую сторону были те, кто собирался здесь; этих могли осчастливить несколько бутылок ликера; их околдовывали сила и власть, которую обещал им Экстийч; в их головах непрестанно бурлили грандиозные планы. В жестком распорядке современного города они предавались своего рода аскетизму: отказываясь от материальных благ, они страдали от голода и терпели нужду во имя сомнительной надежды на то, что обретут себя в труде, которому посвящали жизнь. Однако в тот вечер эти люди утомляли меня точно так же, как и те, другие – обеспеченные и благополучные. По-видимому, в глубине души я еще находился под впечатлением того, что произошло со мной в доме Хранителя, и именно поэтому не дал обмануть себя энтузиазму, с которым был принят рекламный фильм, стоивший мне стольких трудов. Парадоксы, сказанные по адресу рекламы и коллективного искусства, были не чем иным, как перетряхиванием прошлого в поисках оправдания тому, что результаты самой работы были столь ничтожны. Удовлетворение, которое я испытывал, было незначительным именно оттого, что сама цепь была смехотворна; и поэтому, когда Муш подошла ко мне, собираясь похвалить, я резко переменял разговор и начал рассказывать о том, что случилось со мной в этот вечер. К

³¹ Бытие (нем.).

³² Каббала – мистическое, оккультное и эзотерическое учение иудаизма.

³³ Страх – в данном случае философский термин, заимствованный экзистенциалистами у философа Кьеркегора.

³⁴ Театр Изабеллы – разновидность комедии Дель Арте, названа по имени актрисы Изабеллы Андреини, создавшей чувственный тип лирической героини.

³⁵ Знание (греч.).

³⁶ Акупунктура – иглоукалывание, альтернативная медицина.

величайшему моему изумлению, она обняла меня, заявив, что это *потрясающая* новость и что ее-то и предвещал приснившийся накануне сон: ей снилось, что она летает вместе с какими-то огромными птицами с шафрановым оперением, а это неукоснительно должно было означать дорогу, успех и перемену в жизни, которые последуют в результате переезда. И, не дав мне времени исправить ошибку, она разразилась общими фразами на тему о том, как страстно она мечтает бежать куда глаза глядят, послушная лишь зову неведомого, в поисках неожиданных встреч. От ее рассуждений потянуло бичевщиками и Флоридами «Пьяного корабля»³⁷. Но я прервал ее и рассказал, что бежал из дома Хранителя, так и не приняв предложения. «Но это же просто идиотство! – воскликнула она. – Ты мог хотя бы обо мне подумать!» Я обратил ее внимание на то, что у меня не хватило бы денег на путешествие в столь далекие края, а университет в любом случае оплатил бы расходы только одного человека. Наступила неприятная пауза, во время которой я прочел в ее взгляде досаду; и вдруг Муш расхохоталась: «Так у нас же есть художник, сделавший «Венеру» Кранаха!..»³⁸ И она пояснила внезапно пришедшую ей в голову мысль: по дороге туда, где живут племена, заставляющие звучать этот самый барабан и погребальный сосуд, мы непременно попали бы в один тропический город, славившийся красотой своих пляжей и полной экзотики жизнью. Можно было просто пожить там – только и всего, – время от времени выбираясь с какой-нибудь экскурсией в сельву, оттуда до нее, говорят, рукой подать, и жить там всласть, пока не кончатся деньги. Некому будет проверять, ездил я в те места, куда собирался, или не ездил. А чтобы выйти из игры с честью, я бы по возвращении предъявил несколько «примитивных» инструментов – абсолютно точных, изготовленных по всем правилам науки и не вызывающих никаких подозрений, которые совершенно безупречно выполнит по моим эскизам и в заданных размерах ее приятель-художник, любитель и большой знаток разного рода древних кустарных работ. Он так здорово наострился в таких делах – всякого рода подделках и копировании, что теперь уже жил на то, что получал от подделки стилей различных мастеров, изготавливал фигурки Каталонской святой девы с облупившейся позолотой, сработанные якобы в XIV веке и изъеденные жучком и ржавчиной. В своем искусстве он достиг таких высот, что продал однажды музею в Глазго «Венеру» Кранаха, изготовленную им и приобретенную в его руках соответствующий старинный вид в течение нескольких недель. Это предложение показалось мне оскорбительным и грязным, и я с отвращением отверг его. В моем сознании возник университет – величественный храм; белые колонны этого храма мне предлагали забросать нечистотами.

³⁷ «Пьяного корабля» – подразумевается стихотворение «Пьяный корабль» французского поэта Артюра Рембо (1854–1891).

³⁸ «Венера» Кранаха – имеется в виду подделка картины «Венера с амуром» Лукаса Кранаха Старшего (1472–1553).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.